

Это было в последний день гуляния на Монмартре. На подмостках какого-то балагана усердно зазывал публику охрипший паяц, тыча грязной тростью в грудь намалеванного масляной краской великана, вокруг которого толпились на афише голубые герцогини и вишневые дипломаты.

Я вошел. Я всегда захожу в такие места: всю жизнь меня тянуло к монстрам. Мало найдется голов — голов Циклопа или Аргуса, крошечных или громадных, плоских или квадратных, похожих на тыкву или на доску ломберного стола, которых бы я не ощупал и не обмерил, по которым не постучал бы с целью узнать, что же находится там, внутри.

Я нагибался к карликам и со всех сторон осматривал колоссов; я стискивал руками людей, вовсе не имевших рук, и таких, у которых их было слишком много; я видел людей с клешней, как у омара, и мои друзья живописцы не раз малевали для меня заморских дикарей.

Не потому, чтобы я любил безобразное, нет. Мне просто хотелось знать, какую частицу души оставил бог в этих плохо сколоченных телах, какая доля человека содержится в уроде.

Я спрашивал себя, как живут эти странные выродки, эти целомудренные жрецы уродства мужского и женского пола. Чтобы узнать это, сколько раз поднимался я по гнилым задним лесенкам балаганов, и шесть ступенек переносили меня из реального мира в страшный мир, населенный необычайными потрясениями и существами без имени.

Театр, о котором я говорю, был очень убог. Он был сооружен из нескольких досок, положенных на подгнившие балки; холщовые стены надувались и хлопали от ветра, и дождь проникал сквозь тент, который был скроен из выпотрошенного старого матраца.

Однако актеры с первого взгляда возбудили во мне любопытство, хотя их было всего трое. Они выходили по очереди:

клоун, который жидельким голоском пропел «Прекрасную бур- бонезку», этот сонет циркового Арвера[1]; женщина с нежными глазами и сильными, еще белыми руками, с легкостью манипулировавшая тележной осью; и, наконец, «на закуску» — великан.

Это был великолпно сложенный мужчина лет тридцати двух — тридцати пяти, со смуглым и печальным лицом, не без изящества носивший генеральский мундир.

Он начал свой номер и рассказал нам о себе, о том, где он родился. Потом внезапно переменял тон.

— Я получил образование, — сказал он, — и говорю на пяти языках. Я бакалавр.

Аудитория, состоявшая из семи — восьми праздношатающихся, рабочих, военных и нянек, выказала удивление.

Он продолжал:

— Если господа\* угодно будет сделать мне честь и поговорить со мной по — английски, по — итальянски, по — гречески, по- латыни и по — французски, я отвечу на любом из этих языков.

На сцене появилгя клоун.

— А ну, живые языки, мертвые языки! — крикнул он. — Не угодно ли вам, господин с книжкой?

Эта фраза относилась ко мне: под мышкой у меня была какая-то книга. Публика насмешливо ухмылялась; великан поставил меня в неловкое положение.

Любопытство и самолюбие заговорили во мне, и я приступил к форменной осаде человека, выдававшего себя за бакалавра. Живые языки я отбросил — бродячие фокусники научаются им в своих странствиях, — но я выдвинул против него мертвые языки и, дэлжен сознаться, вышел из поединка разбитым, побежденным. Он знал наизусть «Энеиду» и мог бы с листа переводить Пивдара.

Зрители, очень довольные моим смущением, уплатили свои два су и разошлись я же остался.

Человек — чудо предупредил мои вопросы; повесив свою треуголку с трехцветным султаном на крюк под самым небом, он спустился с подмостков и сказал:

— Вы спрашиваете себя, сударь, каким образом бакалавр мог превратиться в циркача и как он мог так хорошо овладеть греческим языком, находясь в балагане. Вы пытаетесь разгадать эту историю — что же, я расскажу вам ее, если хотите. Приходите сегодня вечером на бульвар Амандье в гостиницу «Ученая собака» и подюкдите меня внизу, в кафе. Я приду в одиннадцать часов.

Раздался барабанный бой.

— Это кончилась вступительная сцена, — сказал великан, — я должен снова взобраться на свой трон. Итак, до вечера, и главное, — добазил он шепотом, — никому ничего не говорите.

Я снова поднялся в балаган; клоун на подмостках дурачился с женщиной — геркулесом и вдруг звонко поцеловал ее почти в самые губы.

В эту минуту сквозь дыру в холстине я заметил великана; он был смертельно бледен.

Вечером я пришел в гостиницу «Ученая собака». Великан не заставил себя ждать. Он сменил свою треуголку на старую бархатную фуражку и прикрыл короткие красные штаны рваным

пальто.

— Давайте поднимемся ко мне, — предложил он, — моя комната наверху, под крышей, там мы будем одни, и я смогу говорить свободнее.

Я последовал за ним, и, взобравшись по грязной лестнице на шестой этаж, мы вошли в чистенькую комнату. Он наклонился, переступая порог, сделал, не разгибая спины, несколько шагов, сел и зажег свечу.

Я окинул взглядом комнату. Ничто не выдавало в ней жилища циркача. На некрашенных деревянных полках стояло несколько книг с золотым обрезом, с вложенными в них зелеными или розовыми ленточками — закладками; одни были в синих переплетах, другие украшены скрещенными пальмовыми ветвями.

— Это награды, полученные мною в школе и в коллеже, — сказал великан. — Хотите взглянуть на мой диплом?

Он открыл ящик, но, отыскивая диплом, нечаянно вытащил какой-то медальон и поспешил засунуть его обратно под бумаги.

Я не успел рассмотреть лицо, но он уловил мой взгляд.

— Это она, — сказал он, — женщина — геркулес из нашего балагана, та самая, которую Бетине так крепко целовал сегодня утром... А теперь я расскажу вам мою историю. Прошу вас, садитесь поудобнее и слушайте, пока не надоест. Кстати, мне самому приятно будет поговорить с человеком, у которого только одна голова.

Я невольно дотронулся до головы, словно желая убедиться, что она действительно одна. Великан улыбнулся и начал.

— Когда я болтаю перед публикой, то говорю, что родился на самой высокой вершине Альп от отца — карлика и крошки- матери, что нас было семь человек детей и что я самый маленький из семи. В действительности же я родился в Коррезе, у меня нет братьев и мои родители вполне нормальные люди.

Я окончил учительскую семинарию, степень бакалавра получил в Тулузе, призывался в своей деревне. За неделю до жеребьевки я, чтобы избежать солдатчины, подписал контракт на десятилетнее преподавание в школе, предпочитая стать репетитором в коллеже, нежели тамбурмажором в армии. И я сделал это весьма кстати, так как вслед за тем вытянул № 11, другими словами — «две жерди» или «ноги господина мэра», номер, который теперь во всей округе называют не иначе, как «ходулями великана».

На следующий же день я явился в коллеж, где мне поручили заниматься с младшими.

Бедные малыши! Увидев, что в их низенькую классную комнату, всю пропахшую чернилами, вошел этот бесконечно длинный человек, они задрожали от страха. Это длилось недолго. Не прошло и недели, как они уже не боялись меня и со мной, Голиафом, считались несравненно

меньше, чем с тщедушным недоноском жалкого роста и еще более жалкого веса, который, однако, умел усмирять непокорных одним жестом.

Они так издевались надо мной, клали столько конского волоса в мою постель и столько гороха на мой стул, что меня убрали оттуда и дали мне другой класс, постарше. Это было повышением. Я был обязан им, как это часто бывает, своей бездарности и главным образом покровительству старшего викария, благодарного мне за то, что я с моим компрометирующим ростом не избрал для себя духовной карьеры: раздавая благословения, я вызывал бы смех над самим богом, и, кроме того, я не смог бы уместиться в исповедалне.

Я едва умещался и в коллеже. Я стучался головой, входя в классы; я подпирал потолки, сшибал лампы; во время торжественных церемоний все смотрели на меня одного. Директор завидовал мне.

И все же, находя возможность посылать немного денег матери, чувствуя себя полезным, я был почти счастлив, скромно съездившись в своем уголке. Когда приходило начальство, я наклонялся. Чтобы не приходилось слишком высоко поднимать голову другим, опускал голову я сам; я съезживался, я сгибался в три погибели. Надо мной насмехались, я не обращал внимания; когда шутка была позади, я снова распрямлялся. У меня хватало здравого смысла не слышать с высоты моего роста всего того, что говорилось. Малыши наслаждались. Так бывает везде — в учебных заведениях, в правительстве, на подмостках.

Карлики всегда мучают великанов.

Насмешки коллег и учеников ничуть не огорчали меня, а порой даже забавляли. Но когда случалось, что какая-нибудь девушка или молодая женщина показывала на меня пальцем и шептала: «Их двое, он влез на плечи к своему брату», «Это он нарочно, на пари», «Он деревянный», «Ну и верзила!» — то эти шутки удручали меня, я задыхался, и моему сердцу не хватало места в груди, хоть это и была грудь великана.

Между тем молодость громко заявляла о себе в моем громадном теле. Одиночество давило меня, по ночам я предавался любовным грезам — мечтатель в оболочке Геркулеса.

Однажды я вздумал посвататься к дочери одного из моих коллег, в доме которого чаще ели вареный картофель, чем ростбиф, а за частные уроки брали плату сыром. Я явился туда в достаточно длинных брюках и привел данные о своих сбережениях. Девушка расхохоталась мне в лицо, и я вышел, пятясь задом, оставляя часть волос на потолке и на притолоке двери.

Это была первая попытка, она же стала и последней, и я безмолвно вернулся к своему одиночеству. Иногда я получал письма. В записочках, надушенных амброй, мне назначали свидания. Я шел на них с трепетом, возвращался с чувством стыда. Женщины приглашали меня, как приглашают уроды; им хотелось взглянуть, как сложен великан. Изредка приглашение возобновлялось, но я не шел, — я ждал, чтобы какой-нибудь несчастный случай сделал меня меньше ростом или чтоб горе согнуло мою спину.

О, сколько раз по вечерам, когда я выпускал свои шесть футов и пять дюймов подышать свежим воздухом под старыми каштанами, во мне замолкал великан и начинал громко

кричать мужчина. Выпрямившись во весь мой громадный рост, я простирал руки к небу; при свете луны моя тень на желтом песке казалась бесконечной и пугала парочки, тихо шептавшиеся под высокими деревьями.

Часовые прекращали свою ночную прогулку.

— Это тамбурмажор, — говорили они. — Он немного подвыпил.

Бедный тамбурмажор! Мои проклятья они принимали за его ругань, а мой безумный бред — за его пьяную болтовню. Наконец он заявил в солдатской столовой, что не позволит мне больше ходить на прогулки и не желает слыть пьяницей из-за того, что я осёл.

Так текла моя жизнь; бывали вечера смирения, бывали и вечера грусти. В один из таких вот вечеров я услышал на улице сильный шум и выглянул в окно.

Эта минута решила мою участь. Был бог жесток ко мне, или он был добр? Не знаю. Этому случаю я обязан тем, что перестал быть человеком и превратился в «чудо», и, разумеется, это грустно. Но если я перенес ужасные муки, то пережил и счастливые минуты, и я, хоть я и «монстр», не отдал бы своих страданий за радости других.

— Это была труппа бродячих актеров, которая обходила город и объявляла под звуки тромбона и барабана о том, что завтра и в последующие дни она даст на базарной площади несколько представлений.

Три немца с 1'олстыми губами и кротким взглядом, в оливковых сюртуках и зеленых фуражках, дули, раскачивая головой, в медные и деревянные трубы. И вдруг зашумело все: маленький барабанщик громко забил зорю, цимбалист едва не разбил своих тарелок, кларнетист чуть не до крови укусил свой инструмент, тромбонист издал несколько пронзительных и фальшивых звуков.

Появилась директриса труппы.

Она dokonчила вступительное слово, начатое паяцем, расхвалила всю свою труппу — труппу мадам Розиты Феррари — и пообещала приложить все усилия, чтобы заслужить аплодисменты публики.

Я слушал ее, скорее удивленный, чем взволнованный, но когда, кончив свою речь, она начала танцевать, аккомпанируя себе кастаньетами, и я увидел черный бархатный корсаж, плотно охватывавший ее стан, высокую грудь, обнаженные руки, ее улыбку и растрепавшиеся на ветру волосы, кровь во мне закипела, лицо запылало, грудь распрямилась, и все мое длинное существо затрепетало перед этой живой статуей сладострастия и молодости.

Передо мною в каком-то вихре носились и блестели серебряные звезды на юбке, диадема из голубого бисера, зеленые ленты, красный шарф, и сердце мое громко стучало, отвечая на звон браслетов с погремушками, надетых на ее белые руки.

Наконец она остановилась, запыхавшаяся и великолепная. Ее тело выступало из узкого трико, чулки и корсет трещали по швам, грудь волновалась, юбка обрисовывала выпуклую линию бедер, побледневшее лицо выражало усталость и гордость.

Она рассеянно взглянула на меня и, видимо, удивилась, разглядев мои шесть футов и пять дюймов. Я отвел взгляд и отошел от окна, но успел заметить, как она показывала клоуну и музыкантам на это долговязое, убежавшее от нее привидение.

Однако на следующий день, к началу представления, до вечерних занятий в школе, я пришел в балаган. Я стал бывать там ежедневно, и каждый раз она смотрела на меня, каждый раз я убежал, смущаясь и заболевая все серьезнее, вызывая крики тех, кого я расталкивал, когда уходил. После уроков я шел за город и бродил там, чувствуя огонь в голове и в сердце, — а еще говорят, что на вершинах гор царит прохлада!

В это дело вмешался случай, хотя, пожалуй, я и сам помог ему немного. Как-то раз, после моего очередного бегства, я вдруг очутился, обогнув старую городскую стену, перед большой желтой повозкой; то было жилище бродячих актеров. Они заметили мою голову, возвышавшуюся над стеной, и Поваренок — таково было прозвище паяца — сообщил об этом Розите.

Внезапно увидев ее перед собой, я уменьшился ростом на целый фут и сделался красен, как штаны шута. Меня привело сюда слепое желание. Я сам не сознавал хорошенько, что делаю, не приготовил никаких слов, никаких извинений и теперь не знал, как объяснить свое присутствие, не знал, оставаться мне или бежать. Но она узнала меня, улыбнулась, и пропасть между нами исчезла. Поваренок кинул, как мостик, непристойную шутку, лед растаял, мы разговорились.

Я придумал, будто собираюсь написать книгу о бродячих актерах, добавил, что мой рост делает меня почти своим человеком в их среде, что я побывал за кулисами у всех решительно циркачей, приезжавших в город, и хочу в моих «Тайнах балагана» описать также и труппу Розиты.

Я был одновременно и любопытствующим и предметом любопытства; циркачи улыбнулись, Поваренок измерил мой рост, а Розита показала мне в иллюстрированном журнальчике одного большого южного горо. да свой портрет и краткую биографию. Я почувствовал, что ревную, читая похвалы, расточаемые ей кем-то другим.

Я обещал, что буду приходить, и действительно каждый вечер, после захода солнца, я крался в сторону Зеленой дороги, где стоял караван, и подолгу просиживал там под тем предлогом, будто мне очень интересно слушать разные забавные истории и записывать их. Приходила Розита, всегда кокетливая, не забывая сохранить на себе что-либо от своего цыганского костюма — какую-нибудь поддельную драгоценность, увядший цветок, обрывок шарфа; она рассказывала о своих странствиях, я — о моих невзгодах. Иной раз я приносил ей стихи, она подбирала мелодию и напевала их, танцуя. Кончив танец, она падала, задыхаясь, в мои объятия, но сейчас же весело ускользала. Я не смел бежать за ней, и мое огромное тело изнывало в тоске желания. Однако, возбуждая этой жестокой

непринужденностью и случайными ласками мою любовь, она никогда не давала понять, что догадалась о ней, и гасила пожар взрывом смеха.

— Кто же была она, эта женщина с нежным голосом и кроткими глазами, женщина, которая вела бродячую, полную приключений жизнь в обществе бесстыдных клоунов и борцов — любовников проституток, женщина, с невозмутимым спокойствием управлявшая этим стадом мужчин и уродов?

По ее словам, она была вдова; три месяца назад ее муж, «Северный Алкид», расшибся насмерть, исполняя акробатический номер в какой-то голландской деревушке; она собрала остатки своего жалкого состояния и организовала труппу, состоявшую из дрессированной лошади, клоуна по прозвищу Поваренок — старого друга ее мужа, и человека — змеи. Сама она танцевала, работала с гирями, разыгрывала пантомимы и в случае надобности заменяла акробата.

Она уверяла\* что начала заниматься всем этим лишь в двадцатилетнем возрасте, когда она и муж остались без работы, — до того они были рабочими на шелковой фабрике в Лионе, — и муж стал зарабатывать тем, что поднимал тяжести. Он занял у кого-то болт, запасся камнем и, получив разрешение, начал жонглировать на площади пятидесятикилограммовыми гирями.

Теперь они уже не ложились спать на пустой желудок; честный труд отказался от них, они обратились в поисках заработка к этому безыменному труду, и балаган оказался щедрее, чем мастерская.

Вот все, что я знал о ее жизни, все, что она пожелала рассказать о себе. Впрочем, какое мне было дело? Окажись она запятнанной грязью или кровью, я, быть может, стал бы оскорблять ее, презирать, проклинать, но — увы! — я любил ее и все равно простил бы ей все. Я любил ее голос, оставшийся звонким, и глаза, не потерявшие нежности в этой атмосфере порока, любил наивный вид этой канатной плясуньи в ее мишурном наряде. Пусть ее наивность была притворством, все равно я восхищался ею.

Контраст был необычаен: мне казалось, что я встретил некую Марион Делорм или Манон Леско, и в эту грудь искательницы приключений, под это желтое трико, я вкладывал сердце любящей женщины, сердце, которое я хотел заставить биться для меня одного, забывая, что на этом пути очень легко из Дидье[2] превратиться в Дегрие[3].

Впрочем, порядочность женщин в ярмарочных балаганах встречается не так редко, как это принято думать. То, что пленило меня в Розите, много раз попадалось на моем пути. Только предрассудок создает этой семье странников репутацию порока и разврата. Они разделяют вечную участь всех бродяг: люди всегда обвиняют в преступлении тех, кто ушел.

В мире циркачей можно быть столь же добродетельным, как и во всяком другом мире, и, поверьте мне, я видел женщин, проделывавших самые рискованные па на сцене, а за кулисами державших себя очень скромно и являвших собой чудо добродетели в частной жизни.

Так или иначе, но Розита, казалось, не понимала меня, и я не мог отважиться на признание.

— Между тем я худел не по дням, а по часам. Налитые кровью глаза сверкали на моем бледном лице, словно фонари на длинном шесте фонарщика; одежда болталась на моей отощавшей фигуре, и вечером посреди поля я напоминал огородное пугало.

Выдумка Поваренка положила конец этому тягостному положению: он решился ускорить развязку смелой шуткой.

Однажды я был на площади во время представления. Начался номер дрессированной лошади.

Она сосчитала до десяти, показала, который час, утвердительно кивнула головой, когда ей предложили сахар, и отрицательно, когда ей показали палку.

— А теперь, милая лошадка, — крикнул Поваренок, — не скажешь ли ты нам, кто из нас самый горький пьяница?

Лошадь два или три раза обошла круг и после некоторого колебания остановилась перед человеком с красным носом. Все захохотали, и человек с красным носом — громче всех.

— Ну, а теперь скажи нам, кто самый влюбленный? — проговорил Поваренок, посмотрев на Розиту, которая побледнела; я почувствовал, что тоже бледнею.

Лошадь сделала два круга, причем оба раза нерешительно замедляла шаг, проходя мимо меня. Я дрожал. В третий раз она остановилась прямо передо мной.

Я искал взглядом Розиту. Она спряталась, а я прирос к месту, красный до ушей и дрожа с головы до ног.

Раздался хохот. В меня кидали яблоками, раздавалось гиканье, и если бы не Поваренок, который загладил свою вину, схватив за хвост какую-то собачонку, случайно забредшую на сцену, этому не было бы конца.

Публика забыла обо мне, занявшись собакой, а я поторопился уйти. Мои длинные ноги сослужили мне службу, и вскоре я был дома.

Едва успев прийти, я разрыдался. Я плакал, как ребенок. Мои громадные руки были мокры от слез, и я уже не мог разглядеть в разбитом зеркале своих глаз. Я сел у окна, которое выходило на кладбище, чтобы ветер, овевавший верхушки кипарисов, осушил мне лицо и освежил голову. Долго сидел я так, облокотясь о подоконник, и вдыхал полной грудью вечерний воздух. Этот поток слез как будто затопил мою память, и только где-то на поверхности плавало воспоминание о грустных переживаниях этого дня.

Было поздно; фонарщик давно погасил фонари, мои соседи— рабочие, не имевшие ни жен, ни детей, вернулись домой; подавленный горем и усталостью, я тоже растянулся на кровати и заснул.

От этого тяжелого сна. меня внезапно пробудил стук в дверь.

— Кто там? — с удивлением спросил я.

Ответа не было.

Я повторил вопрос.

То же молчание.

Вдруг у меня мелькнула одна мысль, и вся кровь прилила к сердцу. Я ощупью добрался до двери и отворил ее.

Кто-то вошел и сейчас же закрыл ее за собой.

— Это я, — произнес голос, от которого я затрепетал, — Вы?

— Я видела с улицы, как вы плакали... Осторожнее, на мне ожерелье из бубенчиков...

На следующий день я не пошел в школу, а Розита не играла в балагане.

Весь день она просила у меня прощения за Поваренка, а Когда она уходила, я высыпал ей в карман всю сахарницу.

— Для лошадки, — сказал я, улыбаясь.

— Сохрани на память ожерелье, — проговорила она.

Великан постучал по комоду.

— Оно здесь, — прибавил он и продолжал: — Розита стала ходить ко мне, и я бывал в балагане. Я проводил ночи под дощатой крышей фургона, там, где прежде стонала, ворчала целая толпа чудовищ. Порой мне казалось, что посреди тишины я слышу вой прежних его обитателей — людей или животных.

Но ничто не кричало громче и печальнее, чем моя дикая ревность

До меня она любила других. И, может быть, целуя меня, великана, она, эта цыганка, думала о другом, об умершем великане. Кто знает? Быть может, она была любовницей ужасных выроdkов. Быть может, прижимала к груди головы, в которых не было ничего человеческого... Что ж, тем лучше! Терзаясь мрачными мыслями о ее прошлом, я предпочитал думать, что ее любовниками были люди с уродливыми телами; мне страшно было предположить, что здесь, в этой тесной повозке, где люди касаются друг друга, где ремесло вынуждает всех быть на ты, она дарила свою красоту мужчинам, память о которых еще жила в ней и чей образ я не сумел изгладить.

Порою я говорил ей о своих страхах; она кидалась мне на шею и заливалась смехом.

Между тем мой образ жизни изменился, и это было замечено в коллеже. В довершение несчастья, как-то вечером нас встретили вместе за городом и узнали. По городу покати́лась молва, сильно преувеличенная. Люди, дав волю своей фантазии, стали говорить, что меня видели в клоунской одежде, видели, как я поднимал гири и дрессировал двухголовых быков.

Ученики изобразили меня на доске в виде дикаря, украшенного перьями, и рядом со мной — Розиту. Директор вызвал меня к себе и предупредил, что если я коренным образом не изменю образа жизни и тем самым не прекращу сплетен, то он уволит меня.

Я вышел от него потрясенный, ошеломленный. Угроза открыла мне глаза, и я увидел все безумие моего поведения, увидел пропасть, разверзшуюся у моих ног.

Вечером я должен был идти ночевать в фургон. Я не пошел. На другой день кто-то постучался в мою дверь. Я узнал условный стук Розиты, но не открыл. Она ушла.

Два дня я провел, не видя ее: первый — боясь услышать ее имя, клянясь себе, что это конец; второй — считая секунды до ее прихода, сгорая от лихорадки, мучаясь ревностью, полный отчаяния!

Жалкий человек! Я был не в силах бороться дольше и почти среди бела дня побежал к ней.

Она притворилась удивленной и спросила, уж не сошел ли я с уш. «Да!» — крикнул я, бросаясь к ее ногам.

Движением, полным жалости, она подняла меня и ушла в фургон, заперев за собой дверь.

Я постучался, она не ответила.

— А разве вы открыли мне? — спросила она через маленькое оконце с зелеными ставнями.

Я плакал в бессильных объятиях бескостного гимнаста, хотел подкупить Поваренка, делал подлости, был жалок.

Наконец меня простили, и я поднялся наверх.

Уходя от нее утром, я был погибшим человеком. Она оОра- щалась со мной свысока, я умолял ее — этим сказано все: на шее у меня была цепь, такая же крепкая и такая же короткая, как та, которой привязывают собаку.

— В воскресенье мы уезжаем, — сказала она, вставая.

— Уезжаете? А как же я? Что будет со мной?

— Ты останешься, найдешь другую. Если... — добавила она со смехом, — если не захочешь ехать с нами.

Я ничего не ответил, но два дня спустя я помогал Поваренку завязывать ящики и сильно ушиб плечо, сдвигая с места увязший в грязи фургон.

А в полночь кнут был в моих руках, и я гнал лошадей по освещенной луной дороге.

---

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 13 мая 2026 10:10:48

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 13 мая 2026 10:11:04